

зять свое обвинение; последовала мертвая пауза, никто не пошевелился; тогда приход, пересекавший зал, и, остановившись у подножия трибуны, сказал: «Я тебя обвиняю, Робеспьер!» Всем хорошо известен бесславный исход этого выпада. Известно, что тот, кто бросил эту ужасную громовую стрелу, единственный остался человек, чей голос прозвучал, как сигнал к атаке, был покинута друзьями и остался одиноко при исполнении своей опасной обязанности; он удалился, жалуясь, что небо напрасно столь расточительно в своей помощи скомпрометировавшим себя людям.

«Но я говорю об этих вещах единственно потому, что в моей душе они промелькнули как буря или как луч солнца. Позвольте же теперь мне рассказать, как я был взволнован до глубины души, когда увидел, что свобода, жизнь и смерть вскоре в самых отдаленных уголках страны будут зависеть от тех, кто управляет столицей; когда я увидел, что является объект борьбы, и кто выйдет победителем; когда я убедился в нерешительности партии, преследовавшей самые лучшие цели, и в открытом наступлении со стороны тех, которые, несмотря на свои беззакония, сильны как в нападении, так и в защите. О, как я тогда молился, чтобы во всем мире у всех людей путем терпеливого упражнения разум сделался достойным свободы! Чтобы всем рухнувшим к свету умам открылась светлая истина!

«Так смолкли бы злые речи клеветников, так со всех четырех стран света к Франции притекали бы благодетельные силы, которые облегчили бы ей возможность выполнить то, что без посторонней помощи она не сумела бы осуществить: кристально-чистое дело. Не думайте, что я присоединил к этой молитве просьбу о спасении: я также был застрахован от всяких сомнений и беспокойств на счет конечного исхода дела, как ангелы от греха.

«Но я огорчался всем тем злом, которое является неизбежным спутником всякого прогресса; я искал способов борьбы с этим злом и его искоренения. И я, ничтожный и известный иностранец, к тому же не одаренный силой красноречия даже на родном языке, совершенно не способный на суетные интриги, — в этот момент я от всего сердца хотел бы, однако, взять на себя ради такого большого дела даже опасное поручение. Я говорил себе: сколько раз судьба человека зависает над отдаленными отечествами, как единое солнце на небе; что, таким образом, самые великие вещи могут попасть в поле зрения самых скромных глаз; что человек слаб только в силу своего неверия и отсутствия надежды, тогда как божество свидетельствует ему, что надежда — самая верная вещь».

Так Уэрсурэс сился преодолеть этот светящийся кошмар, который послал его по ночам, чтобы сохранить свою светлую надежду. Он хотел бы с опасностью для собственной жизни очистить революцию от всякого насилия, даже в самых ее жестоких проявлениях, он видел залог грядущей гуманности. Да, это было обратное в Англию в конце 1792 года, он пытался связать великодушные французской революции с благородством английского либерализма и великой фигурой Уильяма Питера. Два года он не был в Англии.

«Мог ли я, патриот всего мира, войти вновь под тень лесов, которые были когда-то моим сладкозвучным убежищем, и снова слиться душой с природой. Теперь мне больше нравилось отправиться в большой город, где атмосфера еще была насыщена воспоминаниями о первом натиске, направленном под влиянием мощного порыва гуманности против торговцев чернокожими; правда, эта попытка не увенчалась успехом, но все же она напомнила нашим старым забытым принципам и возбудила в ней горячие стремления к добродетели. Что касается меня, то борьба по такому частному поводу, при-

знаюсь, не могла захватить меня всецело, а потому и ее неудача не особенно меня огорчила; я верил, что если Франция победит, то гуманные люди не будут больше напрасно растрачивать силы ради человечества, и что этагнилая ветвь человеческого унизения, предмет, как казалось мне, излишних забот, падет вместе со всем древом, часть которого она составляла.

Я волновался, когда Англия — стыд и жалость! — выступила во всеоружии и присоединила свою рожденную свободой силу к коалиции держав».

Вот каким образом французская революция оплодотворила английский гений, расприая, если можно так выразиться, его метод мышления. Как бы ни был важен вопрос об эмансипации негров, Уэрсурэсу кажется, что почти не стоит волноваться из-за него, или, по крайней мере, стремиться разрешить его отдельно; что он есть только часть гораздо более обширного человеческого вопроса, решения которого зависит от революционной Франции. Уже не частичного прогресса, не узкой реформы добиваются великие умы: их занимает идея всеобщего права, стоящего над специальными задачами и эгоизмом наций.

Язык Роберта Бернса более резок. Когда вспыхнула революция, он не был юношей, как Колбридж, или молодым человеком, как Уэрсурэс. Ему было сорок лет и ему пришлось много пережить. Сын бедного шотландского фермера, он испытал на себе высокомерие и черствость знатных и богатых крупных землевладельцев и еще до начала революционного движения во Франции написал стихи, в которых чувствовалась скорбь и негодование.

«Его милости принадлежит все в стране, даже то, что бедные обитатели коттеджей могут положить себе в желудок; признаюсь, это выше моего понимания... Наши джентри так же мало заботятся об огородинках, землекопах и другой скотине; он проходит так же гордо мимо бедных людей, как я мимо стинившего барсук. Я присутствовал на приеме помещика у нашего хозяина; он навел меня на печальные размышления. Да, бедным арендаторам с пустым кошельком приходится переносить наглые выходы управлятеля! Он толкает ногой, грозит, нужно стоять перед ним навтыжку и выслушивать все с смиренным видом, дрожа от страха. Я хорошо вижу, как живут богатые люди, но, верно, так уж нужно, чтобы бедные люди были несчастны!»

И сами аристократы так же легкомысленны, как их управлятели жестоки: «Эх, малы! едва ли ты что-нибудь в этом смыслить: блага английского строя. Честное слово, я сомневаюсь в самом их существовании; скажи лучше, что Англия идет так, как ведет ее премьер-министр; что он действует так или иначе, в зависимости от того, как ему прикажут; он красуется в опере и в других театрах, закладывает свое имущество, играет, бывает на маскарадах; порой, из каприза, он уезжает в Гаагу или Кала, чтобы прогуляться или подышать свежим воздухом, изучить хороший тон и посмотреть свет. Там, в Вене или Версале, он прокупивает старинные наследия своего отца... Благо Англии. Скажи лучше: ее разорение, благодаря расточительности и партийным склонам!»

Временами Бернс иронизирует по поводу глупого джентри, с головой, как пробка; по поводу непривлекательной, опустошенной и разоренной страны; смеется над мужичинами, на три четверти сделанными своими портными и парикмахерами, или высмеивает «надменного графа феодала», в рубашке, жабо и с блестящей тростью в руках, который мнит себя созданным из особой белой кости, выступает с видом выдательной особы, при чем все при его приближении снимают шляпы или панки. Но это же не только насмешка: это — желчные нападки, это хватающая за сердце смесь меланхолии и гнева. Временами его слова звучат почти угрозой.



«С какой стати, — восклицает он во время одних выборов в парламент, — с какой стати нам гнуть спину перед знатью? Может быть, это противоречит закону? Так что же? Лорд может быть идиотом, несмотря на свою ленту, крест и все прочее. А все-таки, все-таки да здравствует Герон (Фокс)! Лорд может быть мошенником, несмотря на свою ленту, крест и тому подобное».

Графу Бридельбэн он грозит кровавою расправой: «Желаю вам долгой жизни и здоровья, милорд, под защитой крестьян из Высоких Земель. Дай Бог, чтобы какой-нибудь отчаявшийся оборванный нищий киркой, палачем или заржавленным ружьем не лишил старую Шотландию жизни, которую она любит — как ягнята любят кинжал».

А вот какой стон вырывается из уст старого, удрученного горем, крестьянина:

«В течение восьмидесяти лет под ряд я видел, как низкое зимнее солнце вставало над этими широкими пустошами, где сотни людей трудятся ради удовольствия тщеславия высокомерного хозяина; я его видел, это низкое зимнее солнце возвращалось дважды в течение сорока лет; и каждый раз я получал доказательство того, что человек сотворен, чтобы страдать».

«Посмотри на этого несчастного надорванного работой, такого униженного, жалкого и презренного, который просит своего брата, сотворенного из той же земли, как и он, позволить ему работать. И взгляни на его товарища, этого наемного дождевого червя, который пренебрегает просьбой бедняка, не задумываясь над слезами и стоном его жены и беззащитных детей».

«Если на мне лежит печать раба этого великого — печаль, наложенная законами самой природы, то почему в мою душу заложена такая жажда независимости, а если нет, то почему я должен переносить его презрение? Или почему одному человеку дана власть заставлять страдать себе подобного?»

Но вот французская революция неожиданно расширяет эти личные жалобы Бернса и окружающих его бедных шотландских крестьян. Теперь Бернс проповедует свободу для всех людей, хочет смягчить страдания всего мира. Призрак свободы сначала бродит у него при свете луны, по обширным, поросшим вереском пустошам.

«На холодном голубоватом севере со странным свистящим шумом струится свет; он пробивался на горизонте и тотчас исчезал, как призрачные дары судьбы. Случайно я беспечно поднял глаза и закричал, увидя при свете луны строгое и могучее привидение, одетое менестрелем. Будь я каменной статуей, и тогда его вид заставил бы меня закричать; на его головной повязке был ясно начертан священный девиз «свобода». С его арфы лились песни, которые разбудили бы даже мертвецов. Но — увы! — то была история страданий, сильнее которой никогда не слышало английское ухо. Он с радостью шел о своих прошлых днях, но он оплакивал настоящее; то, что он шел, не была игра, и я не рискнул бы выразить это в своих стихах».

Однако Бернс вскоре рискует, и уже не при таинственном свете луны, а при ярком солнечном свете водружает он древо свободы.

«Слышали ли вы толки о дереве Франции? Я не знаю его названия, вокруг него танцуют все патриоты, в Европе известна его слава. Оно растет там, где когда-то выслазла Бастилия, — тюрьма, построенная для королей, когда над Францией тяготело адское наследие суверенов».

«На этом дереве растет плод, качество которого может называть каждый человек, этот плод возвышает человека над животным. Благодаря ему, человек познает самого себя. Если крестьянин хоть раз попробует этого плода, то станет выше лорда и поделится с ним всем, что сам имеет».

«Плоды его стоят всех богатств Африки. Они посланы нам, люди, чтобы дать нам счастье. Они проясняют взгляд, радуют сердце, они делают

друзьями великих мира сего и бедняков, изменников же обрекают они на гибель».

«Я всегда благословляю того, кто пожалел рабов Галии и на зло дьяволу привез из-за моря, с далекого Запада, росток этого дерева (Бернс говорит здесь о Ларайете). Благородная добродетель заботливо растила его, и теперь она с гордостью видит, как оно зеленеет и цветет; далеко, далеко, далеко раскинулись его ветви».

«Это дерево свободы с чудесными сочными плодами надо защищать от коалиции королей, да падет голова Людовика XVI, покусившегося на священное дерево».

«Но успех дела добродетели ненавистен порочным людям. Исчадие двора прокляло дерево свободы и плакало слезами злобы, смотря на его цветение. Король Людовик хотел срубить его, пока оно было еще молодым деревцом. Тогда те, кто стоял на страже у дерева, разбили его корону и сняли королю голову с плеч».

«Но вот однажды гнусная банда дала торжественный обет, что дерево не будет расти и не расцветет. Как псы на охоту за дичью, намыленно-парадно выступают они в поход. Но это не кончилось добром, и скоро им пришлось думать лишь о том, как бы убраться во-своих».

«Ибо свобода, стоя на страже у дерева, громко созывала своих сынов, она запела своей гимн независимости, зачаровала их всех. Вдохновенное ею новое поколение вскоре вынуло из ножен свой карающий меч. Наемники обращены в бегство. Враги свободы изгнаны. Тиранов поколотили».

«Пускай Англия гордится своими могучими дубами, тополями и соснами. Старая Англия когда-то могла веселиться и блистать среди своих соседей. Теперь — иные времена, сколько бы вы ни искали по лесам, вам придется узнать, что на всем пространстве между Лондоном и Твидом уже не встретится таких деревьев».

Заключительные слова Бернса полны горечи, и все же в них чувствуется твердая надежда.

«Без этого дерева жизни жизнь наша — увы! — юдоль печали, долина труда и скорби. Нам невведома тогда истинная радость, и счастье ждет нас лишь за гробом».

«Было бы много таких деревьев, я верю, — на земле парил бы мир, люди перековали бы мечи на ораза, умолк бы шум битв, человек! Подобно братьям, связанным одним общим делом, мы улыбались бы друг другу, и равные права, равные законы радовали бы сердца по всем странам».

«Горе негодяю, который не захотел бы вкусить от этой изысканной и здоровой пищи. Клянусь, я отдал бы последние сапоги с ног, чтобы отведать этих плодов. Будем же молиться, чтобы и старая Англия прочно водрузила себе это чудесное дерево. Радостной песней будем мы приветствовать день, который принесет нам свободу, о люди!»

Итак, на примере Уэйдсуэраса, Кольбриджа и Бернса мы видим, что революция произвела глубокое впечатление на многие благородные умы. Логика демократических идей увлекла не только таких серьезных юристов, как Макинтош. Сердца поэтов затронулись при мысли о свободе, о человечестве, о всеобщем мире. Не было ли это возвышенным увлечением, на которое способны лишь немногие избранные? Или же в этом надо видеть отклик на более широкое движение? Или их вдохновение лишь одиночными ключами, или эти живительные силы потухли свои соки из бездонных глубин революции?

Современники резко расходились в оценке силы и широты революционного движения в Англии. По мнению одних, оно было узко по размаху и поверхностно,